

АНДРЕЙ УБОГИЙ

РУССКИЕ РЕКИ

Реки – Божьи дороги

Уже двадцать пять лет – полный рекрутский срок – хожу на байдарках. Стоит только представить, сколько времени, нервов и сил ушло на эти полсотни походов, как охватывает недоумение: зачем, почему, по какой такой крайней нужде, стоит годичному колесу перекатиться за новогодние праздники – как начинается обсуждение планов, сиденье над картами, потом суматоха-волнение сборов, а потом, в первых днях мая, в борта нашей лодки уже, глядишь, плещет речная волна!

Эти походы порой представляются чем-то второстепенным и несущественным, неким придатком к иной – основной, как нам кажется – жизни. Это же не работа, не добывание хлеба насущного: это некая блажь, без которой вроде бы можно и обойтись. Но, с другой стороны, без рек и лодок наша жизнь опустеет, остынет.

Недаром за каждый поход, за возможность поплыть по реке мы порою буквально сражаемся, бьёмся. Видимо, каждый турист перед каждым своим путешествием чувствует, как та бытовая, привычная жизнь, что текла себе тихо-спокойно – вдруг начинает показывать свои когти и зубы. Едва соберёшься в поход – обязательно что-то случается: то заболит кто-то из близких, то потекут в доме трубы или засорится канализация, то случится ещё что-нибудь, что требует действий, решений, присутствия дома – и ставит поход под угрозу. Как только жизнь чувствует, что ты от неё ускользаешь, она начинает раскидывать ловчие сети, опутывать ими тебя – так, что порою приходится даже и рвать эти узы.

А во имя чего – что мы ищем в походах? Когда ты был молод, то мог бы ответить: ищу сам себя. В молодости был важен момент испытания: хотелось узнать, каков окажусь я в иных, непривычных условиях жизни – на ветрах, под дождями, среди холодов? В каком-то смысле походы молодости – это были путешествия к себе самому. И это, конечно, был спорт – и по немалым нагрузкам, и по азарту, с каким ты, бывало, налегал на весло.

Не сразу, но всё изменилось. Проверять самого себя стало ненужным – всё, что мог и хотел, ты уже доказал – и тогда изменился сам вектор походов. Ты стал путешествовать – как бы это сказать? – не к себе самому, а, скорее, вовне, в окружающий мир. Когда я почувствовал, что жизнь, в основном, прожита – мне стало куда интересней, важнее, существенней то, что меня окружает: иные места, незнакомые люди. Недаром расширилась и география наших походов. Если раньше мы не покидали пределов калужской земли – удивительно, кстати, богатой и реками, и возможностью стро-

ить речные маршруты – то, едва мне перевалило за сорок, как я с друзьями собрался на Южный Урал и прошёл по восточным окраинам русского мира. Спустя пару лет нас позвали лесные верховья Угры – поманила Смоленщина, запад России. Потом были степи юго-востока – то Дикое поле, куда вёл дружины князь Игорь, чтоб зачерпнуть шеломами из Дона. И, наконец, мы с товарищем побывали на севере, прошли Ваймугу, Сию, Двину – повторяя маршруты купцов и охотников, русских поморов.

Так вот и получилось, что мы побывали на юге и севере, на востоке и западе – мы увидели берега русских рек, разделённые тысячами километров, но, тем не менее, несомненно родственные друг другу и схожие тем, как они выражают единую русскую душу.

Порою поход начинается с поиска нами – реки. То есть буквально: часами, меняя дороги и увязая по самые оси колёс в непролазную грязь, порой кренясь так, что “Газель” грозит опрокинуться, мы пытаемся выбраться к месту, где мы, наконец, могли бы стать на воду. Особенно памятны наши блуждания в верховьях Угры, в треугольнике между Спас-Деменском, Входами и Коробцом. Пятого мая погода была совершенно собачья, дождь перемежался снегом, дороги раскисли, и мы, ещё даже не видя реки, уже были измотаны так, словно целые сутки гребли под дождём. То и дело приходилось выскакивать из машины и рубить слеги, подсовывать их под завывавшие, остервенело плюющие грязью колёса – и, оскользясь и падая, выталкивать “Газель” из очередной вязкой рытвины.

Тоски добавляли и виды, что сонно тянулись по сторонам от лесной и болотистой нашей дороги. Одни лишь руины да пепелища встречали мы на Смоленщине. Вон там – раскуроченный, ржавый скелет никому уж не нужного трактора; там – руины сгоревшего дома с торчащей печною трубой; а вон там, за кустами разросшейся буйной сирени, у бывшего клуба – гипсовый памятник воину-победителю, к подножью которого уж давно не приносят цветов...

Наконец за ракетами открылось коричнево-мутное тело реки. “Газель” утомлённо притормозила. И на душе сразу сделалось легче. Незвизрая на дождь и на холод, на то, что нас впереди ждёт сырая, тяжёлая ночь, что ближайšie несколько суток придётся лишь только терпеть да грести – всё равно безотчётная радость охватила всю нашу команду. Глаза всех оживились, и мы, как десантники из самолёта, стали один за другим прыгать в дождь, а потом торопиться по мокрому лугу к реке.

Угра была мутной и сильной. Водовороты скользили по ней и несли грязно-рыжую пену, коряги и ветки, какие-то доски – и всё это, вместе с водою, так сложно крутилось, тонуло и снова всплывало, как будто река безуспешно пыталась скрутить саму себя в узел. В клубящемся, сложном движении реки были и тревога, и страх перед собственной силой, которая, кажется, не имела границ, – но и, странное дело, ещё был глубинный покой. Или этот покой жил где-то в нас, в наших собственных душах – а встреча с рекой лишь позволила о нём вспомнить? Во всяком случае, стоило нам оказаться на берегу, посмотреть на весеннюю воду – как между рекою и нами возникла живая и сложная связь.

И потом, уже ночью, когда мы лежали по спальникам и, в наплывавшей дремоте, рассеянно слушали реку – казалось, что вот-вот наладится наша с нею беседа. К тому же, в ночной тишине, когда стих даже дождь, сначала так туго стучавший по скатам палатки, – бормотанья и вздохи реки раздавались отчётливо. Казалось, что рядом вздыхает, бормочет живой человек: он то повернётся и сонно зачмокает, то вдруг застонет или мучительно скрипнет зубами. А тот поток сна, что подхватывал нас, уносил на своих прибывающих водах, – он ещё больше сближал нас с рекой, он как бы сплел наши сонные души с движеньем речных, прихотливо запутанных струй...

Мы, русские, вполне можем считать себя панцирем рек. Достаточно посмотреть на карту России, чтобы увидеть, насколько же наша земля вся пронизана реками – так же, как человеческое тело пронизано сетью кровеносных сосудов. И, что ещё важно, большинство рек с их бассейнами Россия включает в себя целиком – чего никак уж не скажешь о реках, к примеру, Европы.

Но дело, конечно же, не в одной географии и не в количестве рек; дело в том, как сам характер русского человека включает в себя “речные” черты. Почти всё, что мы, русские, можем сказать о себе – мы можем сказать и о ре-

ках: качества рек удивительным образом соотносятся с качествами народа. Широта и податливость внешним влияниям, готовность принять, отразить в себе всё, что только ни есть в окружающем мире, всеотзывчивость и почти беспредельная терпеливость — это всё может быть сказано что о русской реке, что о русском, взращённом рекой, человеке. Но, с другой стороны, неуёмно-бунтарская сила, способность снести, сокрушить всё, что есть на пути, готовность отдаться губительно-тёмному паводку страсти — разве это не русские качества? И вообще, поражающая весь мир противоречивость русского человека, его способность совмещать в себе то, что, казалось бы, соединить невозможно — откуда берётся такое? И разве не русские реки являют нам самый живой и наглядный пример совмещения противоречий?

Вот река неподвижна, закована панцирем льда — вот она полнится “шумом и яростью”, мутно кипит, сокрушая мосты, берега и плотины — вот она сонно млеет, едва шелохнётся под знойным полуденным солнцем, и только лишь вздохи коровьего стада, зашедшего на водопой, оглашают речную дремотную отмель... А вот, ближе к осени, река сделалась так чиста, глубока, так печальна — и теперь взгляд реки обращён лишь в саму же себя, в свою просветлённую душу... Но ведь это всё та же река, река с одним именем, руслом, судьбой — как она может быть такой разной?

А как мы, русские, можем быть то безвольно-покорны, то своевольно-горды, то тупы и пассивны — то, наоборот, поражаем весь мир и смекалкой, и творческой волей? Рассуждение, логика здесь бессильны — умом Россию, как известно, не понять — мы можем лишь верить России и русской судьбе, отдавая ей с тем же доверием, с каким мы отдаёмся реке, плывя по ней в лодке.

Конечно, Россия без рек — не Россия. Дело даже не в том, какое экономическое, транспортное, энергетическое значение имеют реки для нашей страны — по каждому из перечисленных пунктов можно писать не то что статью, а целую книгу — для нас сейчас важно, какое значение реки имеют для русской души. И вот тут можно прямо сказать: вся русская лирика (а лирика — это и есть жизнь души) живёт неразрывною связью с рекой. Едва ли не главный герой русских песен — река, которая то служит фоном эпического песенного повествования, то выступает одушевлённым действующим лицом. Да и сама русская песня похожа на реку: она то разливается вширь, то закручивает бесконечные водовороты повторов, то спешит и бурлит, как бурлит вода на перекате. Конкретных примеров не счесть; читатель может сам взять в руки песенник и посмотреть, какое множество рек течёт через русские песни — и как много песен звучит наподобие вольно разлившихся рек. А какое огромное место в русском лирическом мире занимают мосты и обрывы, мельницы и омута, русалки и водяные, луга, сенокосы, туманы и броды — всё то, что относится к миру реки, что неразрывно связано с её, реки, жизнью!

Мысль о том, что мы, русские, являемся нацией рек, находит своё подтверждение ещё и с такой неожиданной стороны. Посмотрите: ведь два самых главных и самых известных героя русской классической литературы — оба названы по именам русских рек. Случайно ли то, что Онегин с Печориным носят именно вот такие, “речные” фамилии? Даже если это случайность — то совершенно особого рода, это тот случай, который, по Пушкину, является “мощным, мгновенным орудием Провидения”. А имена реальных людей, святых и героев, составивших славу России? Воители Александр Невский и Дмитрий Донской, и святой Тихон Задонский — не просто же так имена русских рек сливаются с именами святых?

Наши реки выражают глубинную русскую суть: поэтому, кстати, и Волга стала символом всей России вообще. И всего, пожалуй, важнее её, Волги, всеобщность, её широта и открытость для многих народов, культур, языков — всеобщность, соотносимая с “всечеловечностью” русской души, о которой так страстно сказал Достоевский.

А Угра, которую называют “поясом Богородицы”? Ведь именно воды Угры, реки светлой, ласковой, тихой — стали той неприступной твердыней, на которой окрепло и утвердилось русское национальное самосознание. Мы, русские, стали нацией, мы вполне отстояли себя именно в месяцы Великого Стояния на Угре, когда мы положили границу между собой — и иными, желавшими нас поглотить племенами. И этой границей, что символично, стали именно воды реки: мы как бы выставили перед войсками татарского хана Ахмата нашу русскую суть, нашу душу — и она оказалась неодолима.

Реки объединяют огромное тело России в единое целое. Никакими искусственными дорогами грандиозной этой задачи, конечно же, было не выполнить — тем более, мы-то уж знаем, как хороши у нас, русских, дороги — только реки, как Божьи дороги и неисповедимые Божьи пути, могли нам помочь стать единым народом.

Но отвлечённые рассуждения — всего лишь рассуждения, и они не заменяют живой и волнующей сути похода. Можно сколько угодно читать, размышлять и записывать разные мысли, можно часами сидеть над развёрнутой картой, которая так протёрлась на сгибах, что продолжения рек и дорог можно только угадывать; но, если не сесть в снаряжённую лодку, не взять в руки весло и не погрузить его лопасть в живую, скользкую мимо бортов, напряжённую воду — с рекою ты так и не встретишься.

Встреча всегда происходит в реальности, в обстоятельствах конкретного места и времени. Вот мы начинаем поход по Медведице, одной из красивейших рек русского юго-востока. Что нас повело в эти холмистые степи, изрезанные меловыми оврагами? Думаю, не последней причиной было “Слово о полку Игореве”, был зов древнерусского эпоса, который, как ветер, подхватывал душу и нёс её в сторону Дикого поля. Ведь Игорь с дружиной шёл именно в эти края — а его брат, “буй-тур” Всеволод, ждал “у Курьска наперед”. Слова летописи о моих предках-курянах всегда вызывают в душе волну гордости и восторга. “А мои ти куряне — сведомы кмети: под трубами повити, под шеломи възлелеяны, конец копия възкормлени; пути имь ведоми, яругы имь знаеми, луци у них напряжени, тули отворени, сабли изострени; сами скачутъ, акы серыи волци в поле, ищучи себе чти, а князю славе...” И ещё — не могу прервать гул могучего текста: “Игорь к Дону вои ведет. Уже бо беды его пасет птиць по дубию; волци грозу възсрожат по яругам; орли клетком на кости звери зовут; лисицы брешут на черленья щиты. О Русская земле, уже за шеломянем еси!”

Но мы с другом, в самом начале похода, пока что не видим ни Дикого поля, ни древних курганов — слева и справа от нас, за рябою завесой дождя, тянется полоса непролазной прибрежной урёмы. Река, может быть, и живописна — она мягко петляет от пляжа до пляжа, журчит сквозь коряжник, качает упругие прутья прибрежных лозин — но нам, в непогоду, не до красот и не до созерцаний: руки стынут, дождевая вода затекает за ворот, уже бьёт озноб, и надежда лишь только на глоток спирта, которым мы наградим себя на привале.

Впрочем, мало-помалу мы привыкаем, смиряемся, перестаем замечать даже этот назойливый дождь. Зато замечаем, как ярко краснеют татарские клёны среди ещё сочной зелени вязов и лип, как пышно свисают к воде гирлянды из хмеля — замечаем, как, даже в дождь, хороша и красива река. И вот удивительно: дождь стихает тогда, когда мы с ним уже свыклись, смирились, почти перестали его замечать — как будто задача дождя и была только в том, чтобы проверить, насколько крепка в нас смиренная твердость.

Меж рваных и дымных, поспешно несущихся туч всё чаще проглядывала синева. Ветер свежел; он вывёртывал наизнанку листья раки, мял древесные кроны, и на реку летели тяжёлые, будто свинцовые, капли воды. “Может, выйдем на берег, посмотрим грибы?” — предложил Алексей, мой товарищ.

Мы причалили, вышли. Чтобы подняться в белеющей наверху березняк, надо было пройти сквозь высокую, в рост, осоку и крапиву. Пока пробирались через мокрые заросли, вымокли окончательно. Зато сверху увидели реку во всей красе: с её мелями и омутами, шарами раки, серебристо дрожащих под ветром, и с рыжей, сочащейся глиной обрывов. Медведица в этих местах чем-то напоминала юную девушку: река ещё словно не определилась, какую ей быть, не нашла свой характер и образ — и в этой незрелой её красоте было особое очарование.

С грибами же ничего у нас не получилось. И березняк, и сосняк чуть поодаль, и вообще все места, где росло хотя бы несколько чахлах деревьев — оказались безжалостно перекопаны кабанами. Жутко было смотреть на пустую, сплошь перерытую рылами и истолчённую копытами землю. “Бог не выдал, но съела свинья”, — откуда-то выплыла строчка, переиначенная из поговорки, и стало так грустно, как будто на наших глазах был разрушен жилой и ещё тёплый дом...

Но главным степным впечатлением стали орлы. Как-то, устав от гребли, мы вышли на берег и, чтобы дать отдых натруженному спине, упали навзничь в траву. Я задремал: звуки, меня окружавшие, смешались и отдалились, и какое-то время я плыл среди смутных, клубящихся грёз первосонья. Когда же открыл вновь глаза, то сначала почудилось: чёрные точки (такое бывает спросонья) плывут в синеве надо мной. Но, проморгавшись, я ясно увидел, что это кружатся над нами степные орлы.

Их были десятки — и все они так деловито снижались, как будто имели в виду совершенно определённую цель. Поначалу я с любопытством следил за орлами, за тем, как они, приближаясь, становятся больше и больше — но вдруг, ещё до того, как я что-либо понял, волна первобытного страха сдавила мне сердце. Вскоре я догадался: для них, для орлов, мы были — мёртвыми, и пернатые эти могильщики ожидали теперь изобильного пиршества, тризны. Снова вспомнилось “Слово”: “Ту кроваваго вина не доста; ту пир докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами пологоша за землю Русскую...” Ведь их, орлов, предки, вот именно в этих местах кормились моими предками — теми, кто пал на гражданской войне. В этих краях был завязан один из самых тугих, беспощадных узлов братоубийственной бойни. Здесь, вблизи Усть-Медведицкой, воевал знаменитый Миронов; именно здесь полыхали пожары верхнедонского восстания — о котором писал потом Шолохов в “Тихом Доне”...

Товарищ потянулся к фотоаппарату, но зоркие птицы мгновенно увидели это движение, поняли, что обманулись — и стали, один за другим, исчезать. Пропадали они так же таинственно, как и появлялись — словно орлы просто-напросто таяли в синем, с прожилками белого, небе — хорошо ещё, что Алексей успел сфотографировать последнюю дюжину из разлетавшихся птиц. И вот уже небо опять было чистым — один только ветер тянул над урёмой, и жухлые листья раки, кувыряясь, летели на этом осеннем ветру...

После встречи с орлами я по-новому посмотрел на Медведицу и на её берега. Поражала безлюдность, заброшенность и сиротливость реки. В это трудно поверить, но мы, проплывая по столь благодатным, обильным, с древнейших времён заселённым местам — мы могли за день хода не встретить ни одного человека. “А где же люди?” — хотелось спросить, если б было к кому обратиться. Ответ знали, наверное, только орлы — те, кто с небес наблюдал за всем тем, что творилось на этой, на сажень пропитанной кровью, земле.

Если же мы кого и встречали, то это были рыбаки — то есть бабы, удившие рыбу. Ловили они неумело, какими-то доисторическими снастями — ну где теперь, в эпоху силикона и пластика, встретишь удилице из орехового прута? — и ловили одну только мелочь. Куда подевались их мужики, почему не рыбачат те, кому это положено — мы, понятное дело, не спрашивали. Мужики здесь повымерли, спились или, в лучшем случае, поужезжали: их теперь не хватает не только на то, чтобы как-то поддерживать и обустроить жизнь, защищать и беречь землю предков — но даже на то, чтобы посидеть на берегу реки с удочкой.

А рыбы-то — сколько рыбы было в Медведице! Когда погода наладилась — вечерами по всей реке начал жадно кормиться голавль. Эти лобастые, с чёрными спинами, краснопёрые рыбины спешили нагулять к зиме жира — и азартно хватали блесну. В иные дни мы ловили так много, что отдавали улов местным жителям — в основном, тем затурканным бабам, которые всё никак не хотели поверить, что мы отдаём им куканы с рыбой за просто так, даром, и всё ждали какого-то словно подвоха от нас, подозрительно трезвых и вежливых мужиков.

— Это в нашей реке можно столько поймать? — изумлялись они, принимая тяжёлые связки жерехов и голавлей. — Сколь живём, такой рыбы не видели!

А мы с Алексеем, сколько живём, не видели такого сома-гиганта, как тот, которого мы потревожили на песчаной косе. Шли по мелкой воде, и река была так просвечена солнцем, что казалось: мы не плывём, а летим над барханами дна, над мозаикой солнечных пятен, скользивших по волнам песка. Вот тень от байдарки накрыла бревно, что лежало на солнечном дне — и это бревно вдруг рывком приподнялось, взметнув завихренья песка, и пошло-заскользило над дюнами дна. Сом был не меньше, чем наша байдарка; и он уходил по наклонному дну так неудержимо, как будто его увлекала во тьму глубины сама его неимоверная тяжесть...

И воды Медведицы, и земля по её берегам так богаты, что охватывает недоумение: почему ж так безлюдны, заброшены благословенные эти места? Ещё хорошо, что живая реальность похода не позволяет надолго уйти в грусть-тоску вот таких размышлений. Хорошо, что надо причаливать к берегу и собирать сушняк для костра, доставать котелок и зачёрпывать им из Медведицы воду, затем разводить огонь – потому что уже приближается время полднего чая. Сухие ивовые прутья не просто горят – они растворяются в жарком огне такой силы, что близко к костру и не подойти. От ивняка даже пепла не остаётся на прокалённом песке: ветерок сдует серую пыль, и уже не найти, где тут было кострище. Зато и вскипает вода так стремительно, что едва успеваешь нарезать хлеб, сало, лук – а уж время сыпать заварку в бурлящую воду.

Пока чай настаивается, посидим на песке да посмотрим на реку. Медведица раздалась, пополнела – как-никак, мы седьмой уже день движемся к устью – и, как женщина в самом соку, река заметно похорошела. Её повороты стали уверенней, берега сделались чётче – в них нет уже прежней размытости, подростковой и неуверенной зыбкости черт. Уж если обрыв, так обрыв настоящий, источенный гнёздами ласточек, а если отмель – то отмель широкая, с пляжем, где на влажной полоске песка отпечаталась строчка следов горностая.

После трапезы хочется спать. Зевая и волоча за собой туристический коврик, ты забредаешь в ажурную тень ивняка – чтобы рухнуть ничком и забыться. Река течёт рядом; её всплески и вздохи, удар большой рыбы на плёсе, и жадное бульканье, с каким омут сглотнул ком земли, соскользнувший с обрыва – это всё слышится даже сквозь сон. А поскольку сон тоже подобен реке, уносящей нас от привычного берега яви, – то река, протекая сквозь реку сна, делает сонные грёзы настолько запутанно-сложными, что в них совершенно теряешься; а когда, наконец, выплываешь – иным видишь берег и реку, иным ощущаешь себя самого...

Вот мы и используем этот эффект сонного перемещения – для того, чтобы вдруг оказаться на реке Ваймуге, на две тысячи километров севернее тех мест, где мы только что задремали.

Открыв спросонья глаза, можно сразу и не догадаться, что река уж другая: синее небо и горы тугих кучевых облаков, и гладкое тело реки поначалу как будто бы те же. Однако, всмотревшись, ты понимаешь, что это уже не Медведица. Лес по берегам и темнее, и гуще; зубчатая линия северных елей совсем не так выглядит на фоне небесной голубизны, как округлые, бледно-зелёные кроны южных раKIT. И здесь лес подходит к реке вплотную: в иных местах можно с лодки, веслом дотянуться до мшистых, сурово насупленных елей.

Но, несмотря на угрюмый, таинственный сумрак тайги, окружающей реку, нельзя сказать, что на северной Ваймуге меньше света, чем на её южной сестре Медведице. Света, может быть, даже и больше – в этом одно из открытий похода по северным рекам. Только он здесь особенный, мягкий, спокойный, он не спит так, как на юге, не делит весь мир на отчётливо резкие пятна и полосы светотеней – а он как-то пропитывает собою и воздух, и реку, и лес, он озаряет весь мир серебристо-неярким, задумчивым, нежным свеченьем.

Здесь, на Севере, я впервые почувствовал магию серого цвета, того самого цвета, который в обыденном нашем сознании служит символом всякой бездарности, тупости и середины – одним словом, серости. Насколько же это не так – насколько, действительно, нужно иметь беспросветную душу, чтобы не видеть той красоты, какую несёт с собой серый северный цвет! Посмотрите на серые избы по берегам серых северных рек, на просмолённые днища лодок, на доски мостков, на которых полощут бельё светловолосые и сероглазые бабы, взгляните, как дым костерка поднимается к бледно-белёсому небу – но ни в чём, что вы видите здесь, никогда вы не ощутите уныния серости. Наоборот, в вашу душу войдёт тот неяркий, таинственный северный свет, который и делает серое – как бы светящимся.

Удивительно, кстати, что в русском фольклоре – а значит, и в русской душе – серый цвет занимает особое место, и отношение к нему большей частью сердечное, нежное. Чего стоят, к примеру, имена-прозвища наших сказочных

персонажей: серая утица да серый лапчатый гусь, “трусишка зайка серенький” и серый волк, помогавший Ивану-царевичу, серая мышка, так лихо решившая все проблемы что с репкой, что с золотым яичком – да едва ли не все наши сказочные герои наряжены в серое! А если и промелькнёт среди них, скромно-серых, хвост ярко-рыжей лисы, так каждому ясно: это плутовка, и ей верить нельзя.

О смысле и таинстве серого цвета говорить можно долго – но тогда, боюсь, река рассуждений унесёт нас слишком уж далеко от той реки – Ваймуги, по которой мы с вами поплыли. Скажу ещё только несколько слов о писателях, для которых именно серый был цветом души и России – то есть был, в сущности, даже не цветом, а именно светом, который собою пропитывал сумерки жизни. Это Николай Рубцов – отсылаю к прекрасной статье, которую написал о нём Вадим Кожинов, где он рассуждает о цветовой гамме стихотворений Рубцова. Это Борис Шергин, певец русского Севера, в чьих дневниках так часто встречаются признания в любви к серебристо-жемчужным тонам, Шергин, для которого серый – это главный цвет поморской России.

Но пора возвращаться на Ваймугу. Впереди пережат. Вода накатывает на лбы валунов – а за ними поверхность реки вся покрыта высокой стоячей волной, вся кипит бурунами. Шум такой, что не слышно друг друга: река оглушила нас и повлекла в своё пенное горло. Только бы, думаешь, нас не развернуло, не нанесло бы на камень бортом – изо всех сил поэтому упираешься, табанишь то слева, то справа, стараясь держать корпус лодки по ходу кипящей струи. Сочлененья байдарки скрипят, волна пару раз пережлётывает через фальшборт. Удар, треск – по днищу со скрежетом проползает контур подводного камня – но мы, похоже, сегодня счастливы: шкура лодки цела, стрингеры не разлетелись, и река перетаскивает нас через отмель.

Пережат мы проходим быстрее, чем об этом можно рассказать: не успеваешь моргнуть, как его буруны позади, и байдарку несёт среди ключьев пены, по ещё быстрой, но уже гладкой реке.

– Может быть, побросаем? – обернувшись, кричит Алексей.

Я понимаю, о чём он: ниже пережатов обыкновенно держится хариус.

– Давай! – соглашаюсь я, и мы начинаем подруливать к берегу.

Охота на хариуса напоминает ужение голавля: и характер рыб, и места их обитания схожи. Ловим, как и на Медведице, на небольшую вертушку. Бросаем блесну в бочажки за камнями, под берег, туда, где вода поспокойней, поглубже. И вот, наконец, после твёрдых ударов блесною о дно рука ощущает живое биенье. Хариус ходит тугими, короткими дугами – и даже прыгает, развернув спинное перо. Потом, уже взяв рыбу, любуешься этой северною жар-птицей. Перо плавника переливается всеми цветами радуги, а упругое тело скрипит, изгибаясь в руке...

Идем дальше. Обгоняем рыжего коренастого мужика, который неспешно, одним веслом, гребёт на дощатике. С ним в лодке лайка, такая же рыжая и коренастая, как и хозяин-помор.

– День добрый! – кричим мужику.

– Здорово, – отвечает он, окая. – Харьюзов поймали-дак?

– Есть немного.

– Ну, а рыбины-то не зацепили?

– Сёмги? Да нет, куда нам: не те рыбаки...

Мужик добродушно смеётся. В том, как он лениво гребёт, в том, как небрежно сколочена лодка – на дне её гремит мягкое жестяное ведро, а чальный конец плывёт по воде – по всей сильной, небрежной повадке помора видна мощь и небрежность северной жизни. Вот, скажем, весло: оно грубо вытесано из доски-сороковки, но о таком пустяке, как скруглить углы на его рукояти, хозяин, видимо, и не подумал. Он так и хватается грубыми пальцами, не боясь ни заноз, ни мозолей, за ребристый брус рукояти.

Так и во всём, что мы видели здесь. Всё – мосты и заборы, сараи, мостки возле бань, сами бани и серые избы, дощатые лодки, которые часто встречаешь гниющими возле воды, – всё сделано с грубою мощью, с размахом, с избытком могучей, как будто с собою и с жизнью играющей, силы; и в то же самое время с такой безнадежной небрежностью, словно люди не верят, что тем, что они смастерили, им придётся пользоваться хотя бы год или два. Слова “абы как”, “на наш век хватит”, “покуда подержит” – сопровождают здесь, кажется, всякое дело.

Всегда ли так было – или это последствие ломки устоев, крушения традиций, отголоски трагедий жестокого века? Видимо, так – ибо трудно представить, что заселение и обживание русского Севера, грандиозная эта работа, которая совершалась веками – могла быть исполнена при таком наплевательском отношении к собственной жизни. Мы застали излёт, отголосок великой имперской волны, которая некогда хлынула на “севера” – но теперь отступила, оставив на отмелях только остовы когда-то могучих своих кораблей...

Здесь, на Севере, где жизнь так крупна и так равнодушна к случайно заплывшему в эти края человеку, здесь и мысли приходят какие-то крупные, и сопоставленья – масштабные. Так, в дни северной экспедиции чаще всего думалось о поморах и казаках, о том, как единый русский народ, на окраинах русского мира, сумел породить два особенных типа людей.

Казалось бы, трудно создать условия жизни настолько различные – как различные условия жизни поморов и казаков. Тысячи вёрст разделяют места обитания тех и других; две Европы вполне бы могли поместиться между Кубанью и берегом Белого моря. Природа и климат различны настолько, что это как будто две разных планеты. На севере долгие зимы, полярная ночь, холода и болота, обилие леса и влаги, и там, что важнее всего – мерзлота, то есть вечные льды, на которых, казалось бы, невозможно ни жить, ни возделывать землю, ни что-либо строить. На юге же всё совершенно иное. Земля там обильна, жирна – чернозём, словно масло, намазывать можно на хлеб – там зеленеет любая палка, которую воткнёшь в землю. Зимы там хоть порой и ядрёны, но коротки; зато лето, которое длится с апреля до октября – так согревает щедрую землю, что сады и бахчи Кубани и Нижнего Дона кажутся земным раем. Лесами те земли, конечно, скудны – лишь островки дубняка зеленеют по балкам, да курчавятся по берегам степных рек краснотал и ракитник – зато сколько простора и воли, сколько неба и ветра, сколько знойного солнца в тех южнорусских, исконно казачьих краях!

И, казалось бы: при такой разнице всех природных условий, которыми определяется жизнь человека, – психология, быт и характер людей, населяющих эти места, должны быть различны. Сравните какого-нибудь финна или датчанина – с греком или испанцем: разница, что называется, бьёт в глаза. А ведь и расстояние, да и вообще все различия, что пролегли между Северной Европой и берегом Средиземного моря – намного меньше, чем различие между Архангельской областью и, например, Ставрополем. Любой социолог, демограф, этнограф, психолог – вообще любой учёный, выводящий национальную психологию из условий материального существования, экономики, климата etc. – скажет вам, что принципиально различные условия существования непременно должны сформировать непохожие друг на друга народы – как это и получилось в Европе.

У нас же, у русских – не так. Несмотря на то, что поморы должны быть отличны от казаков (и, действительно, кое-какие отличия мы найти можем), поразительно всё же другое: то, как много меж ними общего. Поймут ли друг друга швед и испанец, норвежец и грек, англичанин и немец – как друг друга поймут, даже и не заметив существенной разницы между собою, северянин с Двины и южанин с Кубани? Они, в прямом смысле слова, будут как братья, как члены единой семьи. У них общий язык, общая вера и предки, общие горести и заботы, у них общий взгляд на всё то, что совершается в мире.

Самым, пожалуй, неотразимым свидетельством этого братства являются русские песни. Мне посчастливилось слышать как старые песни, пришедшие с Юга, из станиц Усть-Медведицкая и Усть-Хопёрская – так и песни Онеги, Печоры, Двины, песни той заповедной северной стороны, которая долгие годы являлась хранилищем истинно русского духа и коренной, то есть староотеческой, веры. Поражает не то чтобы сходство тональностей, слов тех широких, печально-раздумчивых песен – но поражает живое и несомненное чувство, что ты, слушатель, внимаешь одной, нераздельно-единой, рекою разлившейся песне. И, слушая, ты понимаешь, что и поморы, и казаки, и вообще все русские люди испокон веку поют одну песню – пытаюсь в ней выразить русскую душу, которая, как и родина, у нас всех одна.

Что же всё-таки общего у казаков и поморов? Вот, скажем, приверженность патриархальным устоям. Черта, если вдуматься, странная и необъяснимая. Ведь что казачьи станицы, что поморские сёла создавались людьми

повышенной пассионарности, теми, кто не мог ужиться в условиях прежних крестьянских общин, кого вёл за собою то дух наживы, то жажда увидеть иные места, то стремление резко изменить свою жизнь и судьбу или даже начать её заново. Казаки и поморы – это были, по сути, русские викинги: и те, и другие ломали прежнюю, привычно-оседлую жизнь и с решительной удалью начинали иную.

Но вот удивительно: что казачьи станицы, что поморские сёла становились с течением времени оплотом консерватизма. Перечитайте “Казачков” Толстого, с описанием быта гребенских казаков-староверов, или возьмите сборник северных сказов. Уже сама речь героев, сам их язык, столь неспешно-старинный, весомо-добротный – покажут вам, сколь традиционна была некогда жизнь что в донских иль кубанских краях, что по берегу Белого моря. Видимо, казаки и поморы, как ни силён был тот изначально-бунтарский порыв, что выбрасывал некогда их из привычной, сложившейся жизни к окраинам русского мира – всё же несли с собой память крови, заветы отцов, и в тех новых местах, где они оседали, они вновь создавали Россию, причём создавали её в освежённом, очищенном виде, утверждали живую её красоту, корневой её дух, её русскую правду.

А общинность? Ведь принцип общинности – той истинной демократии, о которой забыли и думать “демократы” новейших времён – был важнейшим, формирующим весь уклад жизни принципом, был как раз тем, что позволяло казачьему и поморскому миру выживать в беспощадно жестоких условиях. И для казаков, и для жителей русского Севера общинный союз, коллектив – принимавший различные формы, от зверобойной или рыбацкой артели до, скажем, кавалерийской казачьей сотни, набиравшейся, в основном, из станичников-земляков, – был такой необходимой и в то же время естественной формой социальной организации, которая не только не подавляла отдельную личность – но, напротив, позволяла и даже требовала от человека раскрыть свою удаль, смекалку, талант, проявить всё то лучшее, на что человек был способен.

Не забудем важнейшего: люди, жившие на окраинах русского мира – вместе с тем, жили и на краю жизни вообще. Для казаков и поморов смерть всегда была рядом, бродила неподалёку, она всегда дышала за плечом и приходила то вместе с чеченскою пулей или турецкою саблей, то вместе с морским ураганом иль северным лютым морозом. Известно, что в обычае у казаков было прощаться с домашними, выходя из дома даже по самому пустяковому делу. Оно и понятно; выражение “разлука – маленькая смерть” обретает особый смысл и значение, когда смерть “большая” всегда ждёт-поджидает где-то неподалёку.

Ещё ярче эта готовность в любой день и час принять смертное испытание была выражена у поморов. Взять такой поразительный факт: отправляясь на промысел, каждый помор брал с собою на коч или шняку укладку чистого “смертного” белья. Только представьте такую картину: любой из нас, отправляясь с утра на работу, получал бы от нежной супруги, вместе с поцелуем в дверях, ещё и стопку чистого “смертного”...

Жизнь в одном шаге от смерти породила ещё одно важное следствие. Ни казачий Юг, ни поморский Север не знали рабства – того, что, конечно, калечило души как русских крестьян, так и русских дворян. Какое может быть рабство, когда я казак, воин – недаром живёт выражение “вольный казак” – когда я в любой день и час могу оказаться в бою и могу как сложить свою голову, так и снести шашкой чужую?

Поморы, конечно, не воевали так часто, как казаки. Их освобождала от рабства сама непомерная мощь окружающей их и грозящей ежеминутную смертью природы. . Какое может быть рабство – среди этих лесов, этих рек и морских берегов, среди этих метелей и бурь, под огнями полярных сияний? На севере рабство невозможно даже психологически: ибо каждый живущий здесь чувствует, как он мал и ничтожен пред ликом суровой природы – и как все люди равны перед этим жестоким, взирающим холодно ликом.

Окраины русского мира заселяли особые люди: дерзкие и непокорные перед чужаками, но смиренные перед отеческой верой и Богом, люди, бесстрашные что в бою, что в опасных трудах на суше и в море, люди, так ценившие и уклад, и обычаи жизни – ещё, может быть, и потому, что они понимали, насколько непрочна и временна эта самая жизнь. Это были, как правило,

щедрые и весёлые люди, ибо они сознавали, что в богатстве радости мало, и что в вечную жизнь с собой всё равно ничего, кроме доброго имени, не унесёшь. Они были трудолюбивы — ибо только огромным трудом можно было поддерживать жизнь в тех суровых условиях, в каких они жили. Они понимали, ценили свободу как высший и неотъемлемый дар, нам вручённый от Бога, и не собирались никого угнетать — но не терпели и сами насилия и угнетения. И они, в сущности, презирали все блага “мира сего”, ибо душа их была широка, и не могла насытиться тем, что реальная жизнь могла предложить — лишь в песне душа казака и помора порой ощущала нечто ей соразмерное, могла слышать голос своей, за пределами этого мира искомой и чаемой, родины...

И вот теперь время вспомнить о реках. Несомненно, что именно реки, их величавая стать, их сила и их широта — играли важнейшую роль в жизни русских окраин, и душа русских рек отразилась в характере и казаков, и поморов. Помимо того, что река была и кормилицей, и полицей, и важнейшим путем сообщения — всё хозяйство, весь быт и уклад держались рекой, ею жили и ею дышали — река задавала и самую важную ноту души, была тем камертоном, который звучал непрерывно и настраивал души людей на особенный лад. Не этот ли вот камертон и создавал то удивительное созвучие, которое делало братьями русских людей, живших за тысячи вёрст друг от друга? Если вспомнить, что реки — суть Божьи дороги, то эта мысль не покажется столь уж нелепой. Отними у России Двину да Печору, Мезень да Онегу — или отними тихий Дон, Урал да Кубань — что останется от обезвоженной, осиротевшей России?

С годами осознаёшь нечто очень печальное: то, что в жизни, увы, почти всякая встреча происходит одновременно с прощанием. Вот и с Россией, которая нам открывалась на берегах своих рек, произошло то же самое. Не успели мы толком почувствовать и осознать свою с нею встречу — как уже нам пора расставаться. И потому, что подходит к концу наша краткая жизнь — и потому, что Россия уже никогда не бывает той Россией, какой она была некогда. Можно сколько угодно мечтать и шуметь о возможном грядущем расцвете страны — но и сердцу, и трезвому разуму ясно: русский век позади. Сплавляясь на лодке, рыбака и ставя палатки по берегам обезлюдивших рек — мы встречаем одни лишь руины России...

Особенно больно видеть такое на Юге, в местах изобильных и щедрых, где люди не просто селились с ещё незапамятных пор — но почти всегда жили в достатке. Да и странно было бы голодать на таких чернозёмах и на берегах степных рек, полных рыбы.

А теперь кажется, что война, краем задевшая эти места почти семьдесят лет назад, окончилась только вчера. Стоит пройти по задворкам какого-нибудь села — как увидишь то развороченный, словно расстрелянный пушками, трактор, то комбайн, ржавеющий в зарослях донника, то груды разломанных плит, из которых усами торчит арматура, то старую ферму с просевшей крышей, то гнездо аистов на остывшей трубе опустевшего дома. Впечатление, в самом деле, такое, будто эти места недавно бомбили — что некая страшная сила, всё истребляя и руша, прошла ураганом по этой благословенной земле и оставила после себя то, что в Библии названо “мерзостью запустения”.

А если случится какой-нибудь праздник, или просто наш выход в станицу придётся на пятницу или субботу — то впечатление только что отгремевшего боя будет совсем уже полным. Всюду, куда ни помотришь — под заборами, в грязных канавах, поперёк развороченной траками тракторов улицы — всюду будут валяться бесчувственные тела. Вот кто-нибудь приподнимется, жалобно что-нибудь промычит — и вновь, обессиленный, ткнётся лицом в чернозёмную грязь... Но кто предал эти земли огню и мечу, кто поверг наземь последних защитников, кто порушил дома, кто оставил чернеть пепелища на месте богатых дворов и усадеб? Кто этот страшный, безжалостный враг — кто хочет стереть в пыль саму память о русских и о России?

Ответ очевиден: мы сами. Причём, что ужасней всего, мы не просто сдались обстоятельствам, разрушающим и ослабляющим нас; нет, мы сами шагнули в разверстую бездну, мы сами приблизили ту катастрофу, которая разразилась над нами. Что же с нами случилось? Как народ-Богоносец, который являл чудеса трудолюбия, веры, смирения — то есть был истинно христианским народом, — не просто поддался его искушающим бесам, но своими руками

сложил и зажёл тот костёр, на котором сгорела Россия? Этот вопрос задают уже сотню лет, задают миллионы людей – но вопрос остаётся вопросом, и никакой, даже самый глубокий ответ, не способен его разрешить. Мы тоже попробуем дать свой ответ – понимая, конечно, что этим не исчерпаем вопроса.

Евангелия рассказывают о трёх искушениях Христа в пустыне. Сатана предложил Сыну Божьему превратить камни в хлеб – то есть сотворить чудо и тем подчинить себе души людей, предложил Христу власть над миром и ещё предложил Ему испытать милосердие и заботу Отца о возлюбленном Сыне: он предложил Христу броситься вниз с крыла храма, уповая на то, что ангелы Божии непременно подхватят Его. Ответом на это, как известно, стали слова: “Не искушай Господа Бога твоего”.

Несомненно, что всё, о чём повествуют Евангелия, не есть события только лишь прошлого – но продолжает происходить “здесь и теперь”, имеет вечную и злободневную актуальность. К любой, ныне длящейся, человеческой жизни – и, тем более, к жизни народа – всегда приложима и всегда объясняет её наша главная Книга. Так вот, можно сказать, что тем искушением от сатаны, которому так легкомысленно поддался русский народ, было именно искушение бездной, искушение броситься в пропасть – с надеждой на чудо, на то, что Господь не оставит падшую душу. Иначе никак невозможно объяснить тот восторг самоуничтожения и самоистребления, с которым русские снова и снова бросаются в бездну. Названия и масштабы той “бездны” могут быть разными – от пожара мировой революции до алкогольной горячки – но в любом случае человек, шагнувший в неё, отрекается от самого себя и поддается на зов сатаны. “Разорю усё именье, сам зарююсь у камня!” – вот какие слова, приведённые Буниным, можно считать лейтмотивом трагической русской истории. О том же самом говорит и современная матерная частушка, изумительная по краткости, энергичности и по той страшной, ядерной силе самораспада, какую она выражает:

*Дайте в руки мне баян —
Разорву его к х...м!*

Но этим мы самонадеянно-нагло провоцируем Господа проявить милосердие. И поразительно, насколько Он терпелив, поразительно, что Россия ещё до сих пор не погибла – хоть, кажется, делала всё, чтоб исчезнуть с лица нашей многострадальной земли. Конечно, терпение и милосердие Божие не имеют пределов; но дело в другом: станет ли Бог вновь и вновь спасать тех, кто сам, своей собственной волей, желает погибели?

Есть выражение: “Бог может всё – но Он не может сделать за нас доброе дело”. Точно так же Он и не сможет спасти человека, свободно избравшего гибель – иначе это нарушило бы тот божественный принцип свободы, в лоне которой Господь и создал человека. Хочешь смерти – умри; иначе всё то, что ты делаешь, будет капризом и блажью ребёнка, который ломается, корчится, бьётся в истерике – в глубине души зная, что взрослые и простят, и спасут, и поддержат его. Мы, русские, очень часто похожи именно вот на такого легкомысленно-злого ребёнка, который ломает игрушки и даже калечит себя самого – но в глубине души ждёт, что вот сейчас строгий отец возьмёт розги да и выпорет своё чадо, чтоб оно впредь не маялось дурью.

А потом понимаешь ещё одну грустную вещь. Той России, которую все мы любили и любим – её же, в буквально-фактическом смысле, никогда и не существовало. Мы знаем, мы помним и чтим некий миф о России; и, чем менее этот миф совпадает с реальностью, тем более он драгоценен для нас.

Когда-то, в советские годы, люди, страдавшие от будней социализма, создавали себе некий миф под названием “Россия до революции” – и надеялись его всем прекрасным, что только могла и хотела представить их тосковавшая по идеальной России душа. (Точно так же, как те, кто стремился разрушить былую Россию, наделяли её всем ужасным и тёмным, что только гнездилось во тьме их же собственных душ.) В этом мифе-лубке уживались: народ-Богоносец и “гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные”, “Боже, царя храни” и Платон Каратаев, пасхальные звоны и орловские рысаки, ухарь-купец, гнавший тройку на ярмарку, и Евгений Онегин в бобровом воротнике.

Но в реальности всё было, конечно, иначе. Россия была, вместе с тем, и жестокой, и рабской, и дикой — и ужас, который она вызывала порой в сопредельных народах, был ужасом разума перед мутной, безбрежной силой стихии. Чтобы не вязнуть в бесчисленных ссылках, примерах и свидетельствах современников о “свинцовых мерзостях” той, имперской, России — сошлюсь на одну, наиболее авторитетную, книгу. Уж Ивана-то Алексеевича Бунина никак нельзя заподозрить ни в недостатке любви к России, ни в невежестве или слепоте, ни в склонности к искажению фактов. Но когда открываешь “Деревню” — по душе пробегает озноб отрезвления, и, вместе с тем, в сердце вдруг оживляется чувство любви. Умом понимаешь: такую Россию нельзя, невозможно любить; но раз любовь, невзирая на убеждения разума, всё же жива — значит, Россия на самом-то деле иная, чем это реальное, грязное месиво из навоза и водки. Значит, мы любим не столько Россию, которую видят глаза — но Россию, которую знает и чувствует сердце.

Рассыпались прахом, прошли и советские годы. И вновь повторяется та же история: эпоха Советской России вспоминается многими как нечто райское, и фильм, скажем, “Кубанские казаки” (чудовищной фальши лубок) начинает казаться едва ли не документальной хроникой. Социалистическая Россия, так уродливо именованная “РСФСР”, — как будто нарочно затем, чтоб стереть её благозвучно-исконное имя — усилием памяти превращается в землю обетованную, где среди тучных пастбищ и нив процветало нерушимое братство народов, где и в помине не было столь модных ныне наркомании с педерастией, где кумачовые стяги упруго дрожали на тёплом ветру, и где на счастливые лица “комсомолок, спортсменов и просто красавиц” нельзя было смотреть без слезы умиления. Причём этот миф чем далее, тем всё более кажется правдоподобным — так что скоро, похоже, реальность прошедшего будет вытеснена ностальгическими воспоминаниями.

Но мы-то пока ещё помним, как всё это было на самом деле: мы сами жили в те годы. Мы помним брошенные деревни, спивавшихся жителей, помним склады и мастерские, размещённые в тех Божьих храмах, которые чудом ещё уцелели — наконец, помним, как наши великие русские реки пытались повернуть вспять, чтобы их погубить в азиатских песках и тем уж вконец иссушить, обескровить Россию. Иначе, как бесовским наущением, нельзя объяснить того унижения русской души и глумления над православной Россией, что совершалось только в те годы.

Получается, мы опять любим миф, идеал — и любим его, как ни странно, тем жарче, чем менее он совпадает с реальностью жизни. Получается: не объективное знание, не достоверные факты лежат в основании нашей любви — но именно вера, то есть “вещей обличение невидимых” движет наши сердца, согревая их странной, уму непостижной, любовью к России.

Но я сейчас лишь повторяю то, что уже выразил Тютчев своей гениальной формулой. Я лишь пытаюсь себе самому объяснить, отчего созерцание той “мерзости запустения”, что мы так, увы, часто встречали по берегам русских рек — вызывает всего лишь печаль, но никак не отчаянье? Отчего та разруха, которую видят глаза — как-то мало влияет на сердце и не разрушает глубокой, устойчивой веры в Россию? Кажется: не останься сейчас даже камня на камне, рассыпья всё зримое в прах — но Россия, каким-то таинственным образом, всё равно будет жить и поможет жить нам, сохранившим абсурдную — то есть единственно верную! — веру в Россию...

Помню, как мы, завершая маршрут по поморскому Северу, вышли в Двину. Это было чуть выше Брин-Наволока, и помню, как нас поразил влажный, ветреный двинский простор — после тесных бобровых завалов речушки по имени Сия. Двина показалась нам морем: кофейного цвета волна разбивалась о форштвень лодки, байдарку качало, и её мокрые деки гудели от ветра, от дробы тяжёлых, как ягоды, брызг. Бусило: весь воздух был сочно пропитан жемчужною смесью дождя и тумана. Сквозь эту зыбкую взвесь лесной дальний берег едва проступал; а ближний — в намывах песка, валунах и в оставленных паводком брёвнях — скользил так стремительно, что сама эта скорость говорила о непостижимо-таинственной силе реки. Мы не плыли — летели сквозь брызги и бус, по пологой волне, уносившей байдарку всё дальше на полночь; и помню то чувство покоя и счастья, какое тогда опустилось на нас посреди несказанных, былинных просторов Двины. Нас, двух продрог-

ших, измученных странников, не просто несла на себе одна из великих рек Севера, но она отдавала нам часть своей силы — и мы, укрепленные, были теперь как бы больше самих же себя...

Это чувство покоя и счастья — оно жило в нас и тогда, когда мы причалили, ставили лагерь, когда разжигали костёр и сушили промокшие вещи. В сумерках дождь перестал, гладь реки стала тускло-серебряной, и она, как старинное зеркало, отражала луну, что взошла над зубчатой каймой далёкого леса. Сова так бесшумно скользнула над нами, как будто она залетела из сна, из его невесомых и зыбких глубин.

Спустя часа полтора, когда мы уже допивали второй котелок — и от чая, от дыма костра, от усталости были будто хмельными — мы услышали, как от реки к нам донёлся протяжный и жалобный крик. Удивленные, мы оглядели серебряно-тусклую гладь озарённой луною реки — но, лишь когда плачущий крик повторился, мы догадались, что это гудок речного буксира. Чёрный, маленький и незаметный, с рубином огня на верхушке радиомачты, он медленно вышел из-за поворота реки, а за ним показалась длинная баржа, груженная, кажется, лесом. Что-то очень печальное, но и очень душевное, нежное было в этих протяжных гудках; казалось, буксир заблудился и ищет кого-то, и очень тоскует по тем, кого хочет найти.

Буксир с баржей ползли еле-еле; мы уже улеглись, застегнули палатку — а до нас, в темноте, всё ещё доносились печально-протяжные крики буксира. И в наплывающей дрёме уже начинало казаться, что это я сам, потерявшийся, маленький, всё кого-то ищу — что мой собственный крик, заблудившийся и одинокий, летит над ночью рекой. Но, даже в печали, в её глубине, всё равно сохранялось чувство покоя и счастья: ведь если плыть, если верить реке — обязательно выплывешь к устью...